

Тема: ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

В. С. СОЛОВЬЕВ

Всякое указание на безусловный характер человеческой жизни и на личность человеческую как на носительницу безусловного содержания — всякое такое указание встречает обыкновенно возражения самого элементарного свойства, которые и устраняются столь же элементарными, простыми соображениями.

Спрашивают: какое может быть *безусловное* содержание у жизни, когда она есть необходимый естественный *процесс*, со всех сторон обусловленный, материально зависимый, совершенно относительный?

Без сомнения, жизнь есть естественный, материально обусловленный процесс, подлежащий законам физической необходимости. Но что же отсюда следует?

Когда человек говорит, его речь есть механический процесс, обусловленный телесным строением голосовых органов, которые своим движением приводят в колебание воздух, волнообразное же движение воздуха производит в слушающем — при посредстве других механических процессов в его слуховых органах — ощущение звука; но следует ли из этого, чтобы человеческая речь была *только* механическим процессом, чтобы она не имела особенного содержания, совершенно независимого и не представляющего в самом себе ничего общего с механическим процессом говорения? И не только это содержание независимо от механического процесса, но, напротив, этот процесс зависит от содержания, определяется им, так как, когда я говорю, движения моих голосовых органов направляются так или иначе смотря по тому, какие звуки должен я употребить для выражения *этой* определенной идеи, этого содержания. Точно так же, когда мы видим на сцене играющих актеров, не подлежит никакому сомнению, что игра их

есть механический, материально обусловленный процесс, все их жесты и мимика суть не что иное, как физические движения — известные сокращения мускулов, все их слова — звуковые вибрации, происходящие от механического движения голосовых органов,— и, однако, все это ведь не мешает изображаемой ими драме быть *более* чем механическим процессом, не мешает ей иметь собственное содержание, совершенно независимое как такое от механических условий тех движений, которые производятся актерами для внешнего выражения этого содержания и которые, напротив, сами определяются этим содержанием; и если само собою разумеется, что без механизма двигательных нервов и мускулов и без голосового аппарата актеры не могли бы материально изображать никакой драмы, точно так же несомненно, что все эти материальные органы, способные ко всяким движениям, не могли бы сами по себе произвести никакой игры, если бы независимо от них не было уже дано поэтическое содержание драмы и намерение представить его на сцене.

Но тут мне уже слышится ходячее заявление материализма, что ведь не

только наши слова и телодвижения, но все наши мысли, следовательно, и те мысли, которые, составляют данную драму, суть только механические процессы, именно движения мозговых частиц. Вот очень простой взгляд! Не слишком ли простой? Не говоря уже о том, что здесь заранее предполагается истинность материалистического принципа, который, однако, во всяком случае, есть только спорное мнение, так что сослаться на него как на основание есть логическая ошибка, называемая *petitio principii*⁸, — не говоря уже об этом и даже становясь на общематериалистическую точку зрения (т. е. допуская, что мысль не может существовать без мозга), легко видеть, что приведенное сейчас указание дает лишь перестановку вопроса, а никак не разрешение его в материалистическом смысле.

В самом деле, если в наших словах и жестах мы должны различать их *содержание*, т. е. то, что ими выражается, от их *механизма*, т. е. от материальных орудий и способов этого выражения, то точно такое же различие необходимо является и относительно наших мыслей, для которых вибрирующие мозговые частицы представляют такой же механизм, каким являются голосовые органы для нашей речи (которая и есть только мысль, переведенная из мозгового аппарата в голосовой).

Таким образом, допуская необходимую материальную связь между мыслью и мозгом, допуская, что движения мозговых частиц суть материальная причина (*causa materialis*) мысли, мы нисколько не устраним очевидного *формального* различия и даже несоизмеримости между внешним механизмом мозговых движений и собственным *содержанием* мысли, которое этим механизмом осуществляется. Возьмем простой пример. Положим, вы теперь думаете о царьградском храме св. Софии. Вашему уму представляется образ этого храма, и если это представление и обусловлено какими-нибудь движениями мозговых частиц, то в самом представлении, однако, этих движений нет — в нем дана только воображаемая фигура софийского храма и ничего более; отсюда ясно, что материальная зависимость этого представления от известных частичных движений мозга нисколько не касается формального содержания этого представления, так как образ софийского храма и движение мозговых частиц суть предметы совершенно разнородные и друг с другом несоизмеримые. Если бы, в то время как вы имеете сказанное представление, посторонний наблюдатель получил возможность видеть все происходящее в нашем мозгу (вроде того, как это изображается в сказке Бульвера «*a strange story*»⁹), то что бы он увидел? Он увидел бы структуру мозга, колебания мельчайших мозговых частиц, увидел бы, может быть, световые явления, происходящие от нервного электричества («красное и голубое пламя», как описывается в этой сказке), — но ведь все это было бы совершенно не похоже на тот образ, который вы себе в эту минуту представляете, причем вы можете ничего не знать о мозговых движениях и электрических токах, тогда как посторонний наблюдатель только их и видит, откуда прямо следует, что между тем и другим формального тождества быть не может.

Я не имею ни возможности, ни надобности вдаваться здесь в

рассмотрение вопроса об отношениях мысли к мозгу — вопроса, разрешение которого зависит главным образом от разрешения общего вопроса о сущности материи; я имел в виду только уяснить на примере ту несомненную истину, что механизм какого бы то ни было процесса и социальное (точнее, идейное) содержание, в нем реализуемое при каких бы то ни было отношениях, при какой бы то ни было материальной связи, во всяком случае представляют нечто формально различное и несоизмеримое между собою, вследствие чего прямое заключение от свойств одного к свойствам другого, например, заключение от условности механического процесса к условности самого его содержания, является логически невозможным.

Возвращаясь к нашему предмету, как скоро мы допустим, что жизнь мира и человечества не есть случайность без смысла и цели (а признавать ее такою случайностью нет ни теоретического основания, ни нравственной возможности), а представляет определенный, цельный процесс, так сейчас же требуется признать содержание, осуществляемое этим процессом,— содержание, к которому все материальные условия процесса, весь его механизм, относились бы как средства к цели, как способы выражения к выражаемому. Как в нашем прежнем примере,— природа актеров физическая и духовная, все их способности и силы и происходящие из этих сил и способностей движения имеют значение только как способы внешнего выражения того поэтического содержания, которое дано в исполняемой ими драме, точно так же вся механическая сторона всемирной жизни, вся совокупность природных сил и движений может иметь значение только как материал и как орудие для внешнего осуществления всеобщего содержания, которое независимо само в себе ото *всех* этих материальных условий, которое таким образом *безусловно*. Такое содержание вообще называется *идеей*.

Да, жизнь человека и мира есть природный процесс, да, эта жизнь есть смена явлений, игра естественных сил, но эта игра предполагает играющих и то, что играет,— предполагает безусловную личность и безусловное содержание или идею жизни.

Было бы ребячеством ставить вопрос и спорить о том, что необходимое для действительной полной жизни: идея или материальные условия ее осуществления. Очевидно, что и то и другое одинаково необходимо, как в арифметическом произведении одинаково необходимы оба производителя, как для произведения 35 одинаково необходимы и 7 и 5.

Должно заметить, что содержание или идея различается не только от внешней, но и от внутренней природы: не только внешние физические силы должны служить средством, орудием или материальным условием для осуществления известного содержания, но точно так же и духовные силы: воля, разум и чувство — имеют значение лишь как способы или средства осуществления определенного содержания, а не сами составляют это содержание.

В самом деле, очевидно, что — раз даны эти силы: воля, разум и чувство,— очевидно, что должен быть определенный *предмет* хотения, разумения и чувствования,— очевидно, что человек не может только хотеть

ради хотения, мыслить ради мысли или мыслить чистую мысль и чувствовать ради чувства. Как механический процесс физических движений есть только материальная почва для идеального содержания, так точно и механический процесс душевных явлений, связанных между собою по психологическим законам, столь же общим и необходимым, как законы физические, может иметь значение только как способ выражения или реализации определенного содержания.

Человек должен *что-нибудь* хотеть, *что-нибудь* мыслить или о чем-нибудь мыслить, *что-нибудь* чувствовать, и это *что*, которое составляет определяющее начало, цель и предмет его духовных сил и его духовной жизни, и есть именно то, что спрашивается, то, что интересно, то, что дает смысл. Вследствие способности к сознательному размышлению, к рефлексии, человек подвергает суждению и оценке все фактические данные своей внутренней и внешней жизни: он не может остановиться на том, чтобы хотеть только потому, что хочется, чтобы мыслить потому, что мыслится, или чувствовать потому, что чувствуется,— он требует, чтобы предмет его воли имел собственное достоинство, для того чтобы быть желанным, или, говоря школьным языком, чтобы он был *объективно-желательным* или был *объективным благом*; точно так же он требует, чтобы предмет и содержание его мысли были *объективно-истинны* и предмет его чувства был *объективно-прекрасен*, т. е. не для него только, но для всех безусловно.

Положим, каждый человек имеет в жизни свою маленькую особенную роль, но из этого никак не следует, чтобы он мог довольствоваться только условным, относительным содержанием жизни. В исполнении драмы каждый актер также имеет свою особенную роль, но мог ли бы он исполнять хорошо и ее, если б не знал всего содержания драмы? А как от актера требуется не только чтобы он *играл*, но чтобы он играл *хорошо*, так и от человека и человечества требуется не только чтобы оно *жило*, но чтобы оно жило *хорошо*. Говорят: какая надобность в объективном определении воли, т. е. в определении ее безусловного предмета,— достаточно, чтобы воля была добрая. Но чем же определяется доброе качество воли, как не ее соответствием с тем, что признается объективно-желательным или признается само по себе благом? (Всякому ясно, что хорошая воля, направленная на ложные цели, может производить только зло. Средневековые инквизиторы имели добрую волю защищать на земле царство Божие, но так как они имели плохие понятия об этом царстве Божиим, об его объективной сущности, или идее, то они и могли только приносить зло человечеству.)

То же, что о предмете воли, должно сказать о предмете познания и о предмете чувства, тем более что эти предметы неразрывно и тесно между собою связаны, или, лучше сказать, они суть различные стороны одного и того же.

Простое, для всех ясное, можно сказать, тривиальное различие добра от зла, истинного от ложного, прекрасного от безобразного — это различие уже предполагает признание объективного и безусловного начала в этих трех

сферах духовной жизни. В самом деле, при этом различении человек утверждает, что и в нравственной деятельности, и в знании, и в чувстве, и в художественном творчестве, исходящем из чувства, есть нечто *нормальное*, и это нечто *должно* быть, потому что оно само в себе хорошо, истинно и прекрасно, другими словами, что оно есть безусловное благо, истина и красота.

Итак, безусловное начало требуется и умственным, и нравственным, и эстетическим интересам человека. Эти три интереса в их единстве составляют интерес религиозный, ибо как воля, разум и чувство суть силы единого духа, так и соответствующие им предметы суть лишь различные виды (идеи) единого безусловного начала, которое в своей действительности и есть собственный предмет религии.

В.С. Соловьев. Чтения о богочеловечестве II Сочинения: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 27—32

Цит. по: Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч.2. – М.: Политиздат, 1991. – С. 43 – 48.

Л.Н. ТОЛСТОЙ

Допустим невозможное, допустим, что все, что желает познать теперешняя наука о жизни, все ясно, как день! Ясно, как из неорганической материи зарождается через приспособление органическая; ясно, как силы переходят в чувство, волю, мысли; и все это известно не только гимназистам, но и деревенским школьникам.

Мне известно, что такие-то мысли и чувства происходят от таких-то движений. Ну, и что ж? Могу ли я или не могу руководить этими движениями, чтобы возбуждать в себе такие или другие мысли; вопрос о том, какие мне надо возбуждать в себе и других мысли и чувства, остается не только не решенным, но даже не затронутым.

Вопрос же этот и есть единственный вопрос центрального понятия жизни.

Наука предметом своим избрала некоторые явления, сопутствующие жизни, и, приняв часть за целое, назвала это явление совокупностью жизни.

Вопрос, неотделимый от понятия жизни,— не вопрос о том, откуда взялась жизнь, а о том как надо жить; и только начав с этого вопроса, можно прийти и к какому-нибудь решению о том, что есть жизнь.

Ответ на вопрос о том, как надо жить, представляется человеку столь известным, что ему кажется, что и не стоит говорить об этом... Жить как лучше — вот и все. Это кажется сначала очень простым и всем известным, но это совсем не так и просто и известно...

Понятие жизни представляется сначала человеку самым простым и ясным. Прежде всего человеку кажется, что жизнь в нем, в его теле. Я живу в теле, стало быть, жизнь в моем теле. Но как только человек начнет искать эту жизнь в известном месте своего тела, так сейчас и являются затруднения. Ее нет в ногтях и волосах, но и нет в ноге, в руке, которые можно отрезать, нет и в крови, нет и в сердце, нет и в мозгу. А есть везде и нигде нет. И оказывается, что по месту ее жительства найти ее нельзя. Тогда человек ищет

ее во времени, и тоже сначала кажется очень просто... Но опять, как станешь искать ее во времени, так сейчас видишь, что и тут дело не просто. Я живу 58 лет, так это выходит по метрическому свидетельству. Но я знаю, что из этих 58 лет я 20 лет спал. Что же я жил или не жил? Потом в утробе матери, у кормилицы был, опять жил я или не жил? Потом из остальных 38 лет большую половину, ходя, спал; тоже не знаю, жил или не жил? Немножко жил, немножко не жил; так что и во времени выходит, везде она и нигде. Тогда невольно приходит вопрос, откуда же взялась эта жизнь, которую я нигде не найду. Тут уж я узнаю... Но оказывается, что и здесь то, что показалось мне так легко,— не только трудно, но и невозможно. Оказывается, что я искал что-то другое, а не свою жизнь. Искать, оказывается, если уже искать ее, то не в пространстве, не во времени, не как следствие и причину, а как что-то такое, что я в себе знаю совсем независимо от пространства, времени и причины. Стало быть, изучать себя? Как же я знаю жизнь в себе?

А вот как. Знаю я прежде всего, что живу я и живу, желая себе хорошего, желаю этого с тех пор, как себя помню, и до сих пор, и желаю этого с утра и до вечера. Все то, что живет вне меня, важно для меня, но только настолько, насколько оно содействует тому, чтобы мне было хорошо. Мир важен для меня только потому, что он мне доставляет радости.

Но вместе с таким знанием моей жизни связывается с ней еще другое. Неразрывно с этой жизнью, которую я чувствую, связано во мне еще знание о том, что кроме меня живет вокруг меня с таким же сознанием своей исключительной жизни целый мир живых существ, что все эти существа живут для своих, чуждых для меня, целей и не знают и не хотят знать моих притязаний на исключительную жизнь и что все эти существа для достижения своих целей всякую минуту готовы уничтожить меня. Мало этого, наблюдая уничтожение других, подобных мне существ, знаю еще и то, что мне, этому драгоценному мне, в котором одном мне представляется жизнь, предстоит очень скоро неизбежное уничтожение.

В человеке как будто два «я», которые как будто не могут ужиться друг с другом, которые как будто борются друг с другом, исключают один другого.

Одно «я» говорит: «Один «я» живу по-настоящему, все остальное только кажется, что живет, и потому весь смысл мира в том, чтобы мне было хорошо».

Другое «я» говорит: «Весь мир не для тебя, а для своих целей и знать не хочет о том, хорошо ли тебе или дурно».

И жить становится страшно.

Одно «я» говорит: «Я хочу удовлетворения своих потребностей и желаний, и для этого только мне нужен мир».

Другое «я» говорит: «Все животное живет для удовлетворения своих желаний и потребностей. Желания и потребности одних животных удовлетворяются только в ущерб другим, и потому все животное борется друг с другом. Ты животное и потому должен вечно бороться. Но как бы успешно ты ни боролся, все борющиеся существа рано или поздно задавят

тебя».

Еще хуже. И становится еще страшнее.

И самое ужасное, включающее в себя все предшествующее:

Одно «я» говорит: «Я хочу жить, жить вечно».

Другое «я» говорит: «Ты непременно очень скоро, а может быть сейчас, умрешь, и умрут все те, которых ты любишь, и ты и они каждым движением уничтожают свою жизнь и идут к страданиям, к смерти, к тому самому, что ты ненавидишь и чего боишься больше всего».

Это хуже всего...

Изменить этого состояния нельзя... Можно не двигаться, не спать, не есть, не дышать даже, но не думать нельзя. Думаешь, и мысль, моя мысль отравляет каждый шаг моей жизни как личности.

Как только начал сознательно жить человек, так разумное сознание, не переставая, твердит ему одно и то же: жить тою жизнью, какую ты ее чувствуешь и видишь в твоём прошедшем, какую живут животные, как живет много людей, как жило то, из чего ты стал тем, что ты теперь, — нельзя больше. Если ты попытаешься это сделать, ты ведь не уйдешь от борьбы со всем миром существ, которые живут так же, как и ты, для своих личных целей, и они, эти существа, неизбежно погубят тебя...

Изменить этого положения нельзя, и остается одно, что к делает всегда человек, начиная жить, переносить свои цели вне себя и стремиться к ним... Но как бы далеко вне себя он ни ставил свои цели, по мере просветления его разума ни одна цель не удовлетворяет его...

По мере усиления разумного состояния человек приходит к мысли, что никакое благо, связанное с личностью, не есть подвиг, а необходимость... Личность есть только первое состояние, с которого начинается жизнь, есть крайний предел жизни...

«Но где начинается жизнь и где она кончается?» — спросят меня. Где кончается ночь и начинается день? Где на берегу кончается область моря и начинается область суши?

Есть день и ночь, есть суша и море, есть жизнь и не жизнь.

Жизнь наша с тех пор, как мы сознаем ее, — движение между двумя пределами.

Один предел есть совершенное безучастие к жизни бесконечного мира, деятельность, направленная только к удовлетворению потребностей своей личности. Другой предел — это полное отречение от своей личности, наибольшее внимание к жизни бесконечного мира и согласие с ним, перенесение желания блага со своей личности на бесконечный мир и существа вне нас.

Чем ближе к первому пределу, тем меньше жизни и блага, чем ближе ко второму пределу, тем больше жизни и блага. И потому всякий человек всегда движется от одного предела к другому, т. е. живет. Это-то движение и есть сама жизнь.

Если я говорю о жизни, то понятие о жизни неразрывно связано во мне с понятием разумной жизни.

Другой жизни, кроме разумной, я не знаю, и никто ее знать не может.

Мы называем жизнью жизнь животную, жизнь организма... Все это не жизнь, а только известное открывшееся нам состояние жизни.

Но что такое этот разум, требования которого исключают личную жизнь и переносят деятельность человека вне себя, в состояние, создаваемое нами как радостное состояние любви?

Что такое разум? Что бы мы ни определили, мы определяем всегда только разумом. И потому, чем же будем определять разум?

Если мы всё определяли разумом, то разум по этому самому мы определить и не можем. Но мы все не только знаем его, но только одного его несомненно и знаем одинаково.

Это тот же закон, как и закон жизни всякого организма, животного, растения, с тою только разницею, что мы видим совершающимся разумный закон в жизни растения. Закон же разума, которому мы подчинены, как дерево своему закону, мы не видим, но исполняем...

Мы решили, что жизнь есть то, что не есть наша жизнь. В этом и лежит корень заблуждения. Вместо того чтобы изучать ту жизнь, которую мы сознаем в себе совершенно исключительно, так как мы ничего другого не знаем, мы для этого наблюдаем то, что не имеет главного свойства нашей жизни — разумного сознания... Мы делаем то, что бы делал человек, изучающий предмет по его тени или отражению...

Если мы узнаем, что вещественные частицы подчиняются, видоизменяясь, деятельности организма, то мы узнали это ведь вовсе не потому, что наблюдали, изучали организм, а потому, что у нас есть знакомый нам, слитый с нами организм нашего животного, который нам знаком очень как материал нашей жизни, т. е. то, над чем мы призваны работать, подчиняя его закону разума... Как только человек усумнился в своей жизни, как только он жизнь свою перенес в то, что не есть жизнь, так он стал несчастен и увидел смерть. Человек, сознающий жизнь так, как она вложена в его сознание, не знает ни несчастья, ни смерти, ибо его благо жизни в одном подчинении своего же животного закону разума, и это не только в его власти, но это неизбежно совершается в нем... Смерть частиц животного существа мы знаем, смерть самих животных и человека, как животного, мы знаем; но смерть разумного сознания мы не знаем и не можем знать, потому что оно-то и есть сама жизнь. А жизнь не может быть смертью...

Животное живет блаженно, не видит смерти и умирает, не видя ее. За что же человеку дано видеть это и почему оно для него так ужасно, что раздирает его душу, заставляет его убивать себя от страха смерти. Отчего это? Оттого, что человек, видящий смерть, есть человек больной, нарушивший закон своей жизни, не живущий жизнью разумной. Он то же, что животное, нарушившее закон своей жизни.

Жизнь человека есть стремление к благу, и то, к чему он стремится, то и дано ему. Свет, зажженный в душе человека, есть благо и жизнь, и свет этот не может быть тьмою, потому что есть, истинно ость для человека только

этот единый свет, горящий в душе его.

Толстой Л. Н. Понятие жизни // Полное собрание сочинений. М., 1936. Т. 26. С. 881—885

Цит. по: Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч.2. — М.: Политиздат, 1991. — С. 115 — 119.

Живет всякий человек для того чтобы ему было хорошо,— для своего блага. Когда человек не желает себе блага, то он не чувствует даже, что живет. Человек и понять не может, чтобы можно было жить и не желать себе блага. Жить для каждого человека — все равно что желать блага и добиваться * его; и, наоборот, желать и добиваться блага — все равно что жить.

Человек чувствует жизнь в себе самом, и — только в себе одном. Сначала, пока он не понял истинного смысла жизни, человек думает, что благо есть только то, что благо для него одного. Ему сначала кажется, что живет, истинно живет, только он один.

Жизнь других людей кажется ему не такою, как своя, она кажется ему только подобием жизни. Свою жизнь человек чувствует; а чужую жизнь он только видит со стороны. Он не чувствует ее и только потому, что видит чужую жизнь, узнает, что и другие люди как будто живут. Что он сам живет, это каждый человек знает и не может ни на минуту перестать знать это. Про жизнь других людей человек знает только тогда, когда он хочет думать о них. Вот почему и кажется человеку, что по-настоящему живет только он один. Такой человек, если и не желает зла другим, то только потому, что ему самому неприятны страдания других. Если он и желает людям добра, то совсем не так, как себе: себе он желает добра для того, чтобы ему самому было хорошо, другим же он желает добра не для того, чтобы им было хорошо, а только для того, чтобы ему, глядя на их радость, самому было приятнее. Такой человек дорожит благом только своей жизни; ему важно и нужно только, чтобы ему самому было хорошо.

И вот когда человек этот начинает добиваться своего блага, то он сейчас же видит, что сам по себе он не может его достичь, потому что благо это находится во власти других людей. Он всматривается в жизнь других людей и видит, что все они, как и он сам, и как все животные,— имеют такое же точно понятие о жизни. Точно так же, как и он, они чувствуют только свою жизнь и свое благо, считают только свою жизнь важною и настоящею, и точно так же их благо находится во власти других людей. Человек видит, что каждое живое существо ищет своего собственного маленького блага и для этого готово отнимать благо у других существ, даже лишая их жизни,— готово лишить блага и жизни его самого. И когда человек сообразит это и станет присматриваться к жизни, то он видит, что так оно и есть на самом деле: не только одно какое-нибудь существо или десяток существ, а все бесчисленные существа мира, для достижения своего блага, всякую минуту готовы уничтожить его самого,— того, для которого одного, как ему кажется, и существует жизнь. И когда человек ясно поймет это, то он видит, что

трудно ему добыть себе то собственное благо, без которого, ему кажется, он и жить не может.

И чем дольше человек живет, тем больше он на деле убеждается в том, что это так. Он участвует в жизни человечества. Жизнь эта составлена из отдельных людей, которые волей-неволею связаны между собой. А между тем люди эти желают каждый своего собственного блага и для этого готовы истребить и съесть один другого. Видя это, человек убеждается в том, что такая жизнь не может быть для него благом, но будет, наверное, великим злом.

Но мало этого: «Ты тянешь, и он тянет: кто ни перетянет, а обоим падать». Если даже человек окажется сильнее других и может взять над ними верх, то и тогда разум и опыт его очень скоро показывают ему, что те удовольствия, которые он урывает для себя у других,— не настоящее благо, а только подобие блага, потому что чем больше он пользуется ими, тем больнее он чувствует те страдания, которые всегда наступают после них. Чем больше живет такой человек, тем яснее он видит, что удовольствий становится все меньше и меньше, а скуки, пресыщения, трудов, страданий — все больше и больше.

Но мало и этого: когда он начинает болеть и ослабевать и видит болезни, старость и смерть других людей, то он с ужасом начинает понимать, что он сам,—то, что для него дороже всего,— с каждым часом приближается к ослаблению, старости и смерти. Кроме того, что другие люди готовы его погубить; кроме того, что страдания его неминуемо усиливаются; кроме всего этого, такой человек начинает понимать, что жизнь его есть не что иное, как только постоянное приближение к смерти, которая непременно уничтожит столь дорогого ему самого себя со всем его благом. Человек видит, что он только и делает, что борется со всем миром, и что борьба эта ему не по силам. Он видит, что он ищет удовольствий, которые только подобия блага и всегда кончаются страданиями; видит, что он хочет сделать невозможное: удержать жизнь, которую нельзя удержать. Он видит, что когда желает блага и жизни только самому себе, то добиться этого блага и этой жизни и удержать их он никак не может.

То, что для такого человека важнее и нужнее всего,— он сам, то, в чем одном он полагает свою жизнь,— то гибнет, то будет кости, черви; а то, что для него не нужно, не важно и не понятно — весь мир Божий, то останется и будет жить вечно. Оказывается, что та единственная жизнь, которую такой человек чувствует и бережет,— обманчива и невозможна; а жизнь вне его, та, которую он не любит, не чувствует и не знает,— она-то и есть единая настоящая жизнь. Он видит, что то, чего он не чувствует, то только и имеет ту жизнь, которую он один желал бы иметь. И это не то, что так кажется человеку, когда он унывает или падает духом. Это не такая мысль, которая находит от тоски и может пройти, когда человек повеселеет. Нет,— это самая очевидная и несомненная истина, и если мысль эта хоть раз придет человеку или другие хоть раз растолкуют ее ему, то он никогда не отделается от нее, ничем ее из себя не выжжет.

Толстой Л. -И. Об истинной жизни // Полное собрание сочинений. М., 1936. Т. 26. С. 885—887

Цит. по: Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч.2. – М.: Политиздат, 1991. – С. 119 – 121.

Вопросы

Вл. Соловьев (из первоисточника «Чтения о богочеловечестве»)

1. Какой характер носит человеческая жизнь? Безусловный. А личность является носителем безусловного содержания жизни.

2. Почему такой взгляд на человеческую жизнь не встречает одобрения? Потому что люди считают, что жизнь есть необходимый естественный процесс, со всех сторон обусловленный, материально зависимый, совершенно относительный.

3. Согласен ли Соловьев с подобной точкой зрения?

4. Касается ли это наших мыслей?

5. Как доказывает Соловьев существование формального различия и даже несоизмеримости между внешним механизмом мозговых движений и собственным содержанием мысли, которое этим механизмом осуществляется?

6. Что необходимо для действительной полной жизни? Идея или материя?

7. Может ли человек довольствоваться только условным, относительным содержанием жизни?

8. Что требуется для различения добра и зла, истинного и ложного, прекрасного и безобразного?

9. Что составляют эти три интереса в единстве?

Толстой Л.Н. («Понятие жизни»)

1. Какой вопрос, считает Толстой, неотделим от понятия жизни?

2. Почему понятие жизни является сложным вопросом?

3. Что ждет человек от мира?

4. Какое знание неразрывно связано с жизнью, которую человек чувствует?

5. Что представляет собой человек?

6. Что есть жизнь?

Л.Н. Толстой («Исповедь» и др.)

На какие вопросы искал ответа Толстой?

Что привело его к этим вопросам?

Почему жизнь кажется ему бессмысленной?

В чем заключается его поиск бесконечного, бессмертного, вечного?

Что такое вера?

Что представляет собой человек?

Возможна ли жизнь в форме зла?

Что Толстой называет религией?

Почему, согласно Толстому, церковь извратила понятие веры?

Что означает, по Толстому, жить по вере?

Какой вывод делает Толстой?
В чем Толстой видит спасение?